

И. А. Мельчук

Как начиналась математическая лингвистика

Я могу тебе рассказать, как это со мной случилось. С точностью до месяцев я могу ошибиться по времени, но действующие лица и сами события абсолютно точные.

Выхожу я из университета, это была ранняя, сырая, со снегом, противная весна. По моему ощущению — март. Видимо, пятьдесят четвёртого года. Может, не март, а февраль или начало апреля.

Меня останавливает, схватив меня за руку, знакомый мне, младше меня, парень по имени Дима Урнов. Великий специалист по Шекспиру и по ранней английской литературе, ставший большим боссом в советской литературе. Но он очень интеллигентный парень, с хорошо подвешенным языком. Всегда был на виду. Видный, красивый, острит. Поэтому у нас были такие приятельские, но очень поверхностные отношения.

Он меня останавливает и говорит: “Слушай, у меня к тебе совершенно дикое дело. Я не могу толком ничего объяснить, но вот примерно так: у меня есть подружка, её зовут Наташа Рикко...”

Моя первая реакция — что такое?.. В самом деле: в Москве пятьдесят четвёртого года человек по имени Наташа Рикко?! Потом оказалось, что она действительно полуйтальянка. У неё отец итальянец. Она аспирант-математик, и какой-то там человек, то ли Липунов, то ли Ляпунов, её учитель, или что-то в этом роде, я подробностей не знаю, хочет сделать так, чтоб какие-то машины переводили с одного языка на другой.

Ну, в пятьдесят четвёртом году для студента филфака это звучало как абсолютный бред, полная бессмыслица. Слова бессвязные, так же, как, я помню, приводили в своё время пример бессмысленной фразы: “Принесли пакет молока”. Ну, над этим всегда хохотали. Бессмысленная фраза, образцовая. Потом пакеты молока, естественно, появились.

Вот так же это для меня прозвучало: “машины, переводить, Липунов, Рикко”, запредельные какие-то вещи. Но Урнов очень на меня насел, говорит: “Нет, это серьёзно, ты не смейся, она очень милая девочка, она неглупая, раз она так говорит, значит в этом что-то есть”.

“А я при чём?”

“А вот при том, что для перевода им нужен человек, знающий языки и филолог, и они просили меня. Но меня это не интересует, я — литература, то, сё... И потом они английский плохо знают, они все знают больше французский, вот как ты. И они просили найти какого-нибудь умного и такого подвижного филолога”.

Ну, я подумал: “Чем я рискую?”

Я тогда был на четвёртом, начало четвёртого курса.

Значит, я согласился пойти. И он меня отвёл к Наташе Рикко, на улицу Горького где-то. Не помню, это была первая или вторая встреча (через день), но то, что я ясно помню — комната, я и три девицы. Нам всем по двадцати одному, максимум двадцать два года.

Наташа Рикко — высокая, очень на вид худая, горбоносая, очень типичная итальянка, как мы их себе представляем. Таня Вентцель — дочь знаменитого математика, зеленоглазая, плотная, и Оля Кулагина — наиболее незаметная из них, но она оказалась самой работающей.

И они меня облепляют со всех сторон и начинают меня щупать и мне объяснять, что, мол, существуют такие машины, которые обрабатывают информацию. Не помню, какие они употребляли аналогии, очень смутно у меня это было в голове, как это можно сделать. Никто ещё тогда ничего такого не слышал, конечно. Слова “компьютер” не было отродясь. И даже слово “ЭВМ” ещё не появилось в печати ни разу.

— Подожди, но уже существовал ИТМиВТ. И они там уже делали не первую, а вторую или третью машину.

Да, это была первая БЭСМ, которая тогда проектировалась. Единственная работающая машина — “Стрела”. В это время она уже была.

Но всё это было ультразасекречено, произносить эти слова было нельзя. Всё это использовалось для военных целей, для ракет... И никто из нормальной публики про это ничего не слышал ещё, никогда.

Они мне понравились. Они говорили очень чётко, разумно, но я плохо понимал, потому что я ничего про это не знал. И я им тоже очень понравился, так что они сказали: “Ну, мы тебя ведём к шефу!”

И ещё через сколько-то дней (всё это происходило абсолютно стремительно, вся эта процедура заняла, по моим теперешним ощущениям, порядка недели) я встретился с Ляпуновым. Они меня просто отвели к нему. Куда — не помню. Ну, конечно, не в институт. Я думаю, что это происходило у него дома, на Шаболовке, ещё на старой квартире. И там я совершенно обалдел от него. Конечно, он был тогда ещё совсем молод, полон сил, полон громадных прожектов, и всё это он вывалил на мою бедную голову.

Ситуация была такая: в январе пятьдесят четвёртого года появилась первая публикация об успешном машинном переводе. Это сделали два американца — Питер Шеридан, программист, и лингвист Пол Гарвинс, с которым я потом хорошо, даже очень, познакомился. Он уже, к сожалению, умер теперь. Где-то в январе пятьдесят четвёртого года их “Марк-2” или что-то такое, какой-то совершенно допотопный мастодонт, перевёл триста случайным образом составленных фраз, не подогнанных. Там словарь нужно было соблюдать. Чтобы слова были из этого словаря, а фразы делай какие хочешь. Перевод был ужасный, но перевод с помощью машины! Коряво, так не говорят, но в общем — перевод. Потом выяснилось, что о машинном переводе говорили и до того, и даже за два года перед тем была всемирная конференция на эту тему, но никакого машинного перевода не было. Обсуждались только подходы, как за это можно взяться.

И большинство высказывающихся, в том числе крупнейшие люди, типа Винера, который, собственно, всё создал, и фон Неймана, который был ещё жив, решительно высказывались на эту тему, что это невозможно. Просто категорически. Видные логики, вроде Бар-Хиллела, даже формулировали абсолютно убедительные соображения, почему это невозможно. Ну, а какие-то такие недоучившиеся математики, ставшие компьютерщиками, сказали: “Мы не знаем теорий, а вот это мы можем”. И продемонстрировали...

Мало что изменилось за эти прошедшие сорок лет, очень мало.

— Недавно писали об одном японце, который сделал англо-японский перевод на большой параллельной машине, с надёжностью девяносто процентов при очень широком словаре...

Да, ключ, конечно, в словаре, это совершенно ясно, что в этом всё дело. Ну, сейчас я не знаю, я отошёл от практического дела. Поэтому не могу тебе сказать. Я думаю так: из того, что я видел в разных группах, уже полуприличные переводы, которые можно использовать, существуют во многих направлениях. Но меня это теперь мало интересует. Если потом спросишь, объясню почему.

Короче говоря, Ляпунов меня просто купил с потрохами. Ничего более интересного я никогда в жизни не слышал. Я, конечно, согласился сотрудничать с ними на любых условиях и тут же начал работать с Кулагиной. Собственно говоря, Ляпунов велел им всем трём этим заниматься. Это были его аспирантки первого года. Но две как-то по разным причинам личного свойства отпали, а с Ольгой мы трудились полтора года очень напряжённо, очень много. И где-то ранней весной пятьдесят шестого года у неё (это был Институт прикладной математики, куда я вообще войти не мог, такой он был секретный), у неё этот алгоритм зафурычил, появились первые переводы с французского языка. Мы делали много лучше, чем было у американцев. И качество у нас было лучше, и самое главное, что, я считаю, было хорошо,— этот алгоритм можно было расширять, он не был закрытой системой. Можно было прибавлять правила, прибавлять слова, и от этого то, что уже было, не портилось. Мы написали работу, которую представили на конкурс студенческих работ. Мы получили то ли первую, то ли вторую премию, я забыл, но какую-то очень высокую, по-моему, первую-вторую пополам или что-то в этом роде. Я забыл. И нашу работу опубликовали в “Вопросах языкознания”. Какую-то её выжимку. Мы сделали две выжимки: для математиков и для филологов.

Это был пятьдесят шестой год, я окончил университет. Я учился на год больше, чем должен был, потому что закрыли испанское отделение, на котором я учился. Я должен был получать диплом по французскому, надо было в год сделать программу четырёх лет.

После этого я так сблизился с Ляпуновым, что он обязательно хотел взять меня к себе на работу в ИПМ и создать большую группу машинного перевода в своём институте. Он взял на работу одну лингвистку из моего выпуска, она была по английскому языку, Таня Молошная. К ней прикрепил своих математиков, которые с ней работали, они тоже что-то сделали.

Меня он хотел взять, и при всём его колоссальном влиянии ему отказали несколько раз, причём в последний раз в резкой и грубой форме: еврей. Евреи

были там не нужны. Тогда он добился, чтоб по крайней мере это место, которое он для меня отвоевал в Президиуме, ему лично оставили, и он эту ставку передал в Институт языкознания, чтоб меня взять туда. Я это всё так подробно рассказываю, потому что для судеб науки тогда всё это играло очень большую роль — детали эти мелкие, которые ты можешь использовать как захочешь. Я особо повторяю то, что касается меня. Я сейчас объясню, в чём состояла для меня лично вся эта история. Если бы я попал в институт к Ляпунову, я, возможно, не стал бы тем, чем я стал. Не знаю, лучше это или хуже. Но я был бы совершенно другим человеком с очень сильно другими взглядами.

Меня не хотели брать и в Институт языкознания, по той же самой причине. Директор честно сказал Ляпунову. Это было почти при мне. Алексей Андреевич пришёл со мной лично к директору, когда директор как-то так замялся и попросил меня выйти. У них был разговор на такую же тему. Алексей Андреевич раскричался, начал размахивать руками. Я не слышал конкретных слов, но было совершенно очевидно, что дело в этом: был слышен шум голосов сквозь запертую дверь, а вышел Ляпунов красный, возбуждённый, очень злой — и тут же мне пересказал беседу: директор ему сказал, что у него уже много евреев, и он ещё одного принять не может.

Но он его заставил меня взять: в Институте языкознания математик ранга Ляпунова, связанный с военными, партийный и так далее, всё-таки был силой, и директору, который хотел быть избранным в Академию, бесспорно, не следовало лично ссориться с человеком такого калибра, который запросто был с президентом Академии... Меня взяли.

В течение следующих примерно десяти лет я продолжал очень тесно сотрудничать с Кулагиной, а через неё — с Ляпуновым. Конкретно же моё участие в работах по машинному переводу всё уменьшалось и уменьшалось. И причин для этого было очень много разных. С одной стороны, оказавшись в Институте языкознания под руководством очень крупного лингвиста — Реформатского (я был его единственным сотрудником в течение длительного срока — он был заведующим, а я был его единственным подчинённым; ну, потом появились другие), я невольно развил в себе какие-то более общие лингвистические интересы, а прикладные интересы, естественно, угасали. Потому что я лично работать над машинным переводом сам никак не мог, только через Кулагину. И хотя мы были в абсолютно приятельских, очень хороших отношениях, но тоже начались кое-какие трения. Ей хотелось вкладывать в это больше себя.

Как-то потихоньку наши пути почти совершенно разошлись, и тут разошлись и мои пути с Ляпуновым. Те идеи, которые он высказал вначале — как надо делать, мне казались абсолютно правильными (они мне и сейчас кажутся правильными), но их развитие ему уже не нравилось.

Появился какой-то лёгкий оттенок раздражения в его отношении к моим работам, и он пытался в разумных пределах повлиять (он человек был абсолютно порядочный, он не давил на меня так, что “ах, я тебя устроил на работу, так теперь давай, расплачивайся!”)... Насколько он мог, давил, а я, насколько мог, “отдавливался” и сохранил самостоятельность в этом смысле. Не знаю, был ли я прав, или нет. Это одному богу известно, если он существует.

Но, во всяком случае, я стал лингвистом благодаря тому, что Ляпунову не удалось меня взять к себе. Я стал лингвистом, создавшим некую модель языка, которую кто-то признаёт, кто-то нет, естественно. Я не знаю, прав я или нет. Но у него я бы лингвистом, видимо, не стал, а стал бы таким классическим прикладником, что, может быть, и лучше, не знаю.

Ну вот, значит, ещё в течение примерно десяти лет, с пятьдесят шестого по шестьдесят шестой, я много очень, оставаясь лингвистом и будучи в лингвистическом институте, занимался всё-таки проблемами машинного перевода, насколько я это понимал.

Ляпунов всё время хотел получить от меня большое, хорошее описание системы автоматического анализа, например, для русского языка. Такого тогда не было. Я и моя жена Лида, которая поступила в сектор, моя бывшая студентка (я очень коротко преподавал в университете и, вот, осталось...), мы сделали такую работу. Книжки наши вышли именно в Сибирском отделении. Это называется “Автоматический синтаксический анализ русского языка”. Моя — в шестьдесят четвёртом — первый том, “Простое предложение”, и её — на три года позже — “Сложное предложение”. Вот, в общем, десять лет я занимался поставленной Ляпуновым проблемой. Как понимал. Ему уже многое не нравилось в моём способе решать её, но тем не менее это всё ещё продолжалось предложенное им направление.

— А эти работы по анализу предложений русского языка, они сейчас играют какую-то роль?

Нет, никакой. Это были абсолютно тупиковые вещи. Но, они, может, сыграли положительную роль (для меня и для других) — как **не надо** делать. С моей точки зрения, они были очень прикладные, они были очень техничные. При такой сложности языка — такая техничность... Я просто писал конкретные правила анализа, что-то в этом роде, в огромном количестве: сотни, может быть пара тысяч. Это необозримо, это не контролируется человеком, никто посторонний практически разобраться в этом не может... То есть я нахожу, что это был тупиковый путь.

Свою роль это сыграло. Например, в Армении, в Грузии, где у меня было много друзей, это использовалось как шаблон: как им делать. На этом потом выучилось целое поколение специалистов. Так что, может быть, это и было полезно, но сейчас это, конечно, смешно видеть. Это — мастодонт, нежизнеспособно. И результат этого — я знал, что в то время в этой области я был лучшим и сильно лучше следующего, — и я всё равно не смог сделать. Значит, может, это в принципе и разрешимо, но даже при наличии людей выше среднего уровня способностей на этом пути сделать ничего нельзя. Вот в это Ляпунов не верил. Он настаивал, что надо всё равно продолжать, а если мы не можем это удерживать в памяти, надо делать программы, которые будут нам помогать.

Он предлагал всё время идти по этому пути — автоматизации наших усилий. А я к этому просто абсолютно неспособен. Я не могу этого делать. У меня нет ни интереса, ни навыков, ни знаний — ничего. И у меня начала складываться идея, что надо идти по совершенно другому пути, а именно — максимального удаления от технических вещей. Описывать язык, пусть не формально, но строго, так, чтобы математик, работающий с тобой в паре, мог это формализовать независимо от

тебя. Но надо описывать язык. Лингвист — это человек, который видит, как устроен язык. Он не видит, как устроена машина, и не должен тратить свои силы на это, что я пытался сделать. Потому что силы ограничены, и обе вещи такой сложности, что одновременно их никто не может сделать. И я оказался прав. До сих пор не существует человека, который был бы способен на подвиг формального, программно-формального описания языка.

— А как же тогда работать с естественным языком?

Один человек описывает естественный язык, не думая о программировании, а другой человек берёт то, что он сделал, и думает, как это запрограммировать.

— Но если другой человек — это математик, кибернетик, который язык знает понаслышке, то, значит, описание должно быть всё-таки как-то формализовано?

Слово “формализовано” — очень важное здесь слово. “Как-то” — да! Но совсем не так, как к этому привык программист. Программист должен научиться понимать другие формализмы. Это очень важно. Потому что в начале именно из-за того, что лингвистика была в таком жалком состоянии (она, действительно, была в жалком состоянии), идея Ляпунова была в том, что мы должны превратиться в каких-то полупрограммистов. А это неверно.

В это время появились люди, которые тоже активно заинтересовались машинным переводом. Они к этому пришли много позже меня, но они пришли как бы с других позиций. Это были люди, очень увлечённые семантикой. Главное здесь имя, которое для меня сыграло колоссальную роль и окончательно оторвало меня от Ляпунова,— это Алик Жолковский, ныне профессор в Лос-Анджелесе. У него идея была, в общем, по нынешним временам банальной, а тогда ему понадобился год или полтора, чтобы меня убедить в её осуществимости. Я эту идею излагаю в своей нынешней редакции, он так не говорил тогда. Идея была такая — язык надо описывать следующим образом: надо уметь записывать смыслы фраз. Не фразы, а их смыслы, что отдельно. Плюс построить систему, которая по смыслу строит фразу. Это та область или тот поворот исследований, при котором интуиция способного лингвиста работает лучше всего: как выразить на данном языке данный смысл. Это — то, для чего лингвистов учат, то, на что мы в принципе умеем хорошо отвечать.

Из этого вытекало огромное количество разумных идей. Во-первых, не делайте анализа, делайте только синтез. Это, как я теперь вижу, на сто процентов верно. По следующей причине: когда ты понимаешь текст (на родном языке или на любом другом языке), усилия, которые ты тратишь на преодоление чисто языковых трудностей, составляют не более десяти процентов по сравнению с собственно пониманием текста.

Ты по-русски читаешь текст, даже художественный, не обязательно научный — и не так, чтобы ты мгновенно всё сразу понимал. А уж научный — ты сидишь с карандашом и мучительно работаешь, а это твой родной язык! То есть понимание сопряжено в первую очередь с какими-то сложнейшими мыслительными процессами распознавания, которые к языку не имеют никакого отношения. Поэтому, когда ты пытаешься описать язык с точки зрения анализа, ты смешиваешь пять процентов вещей, относящихся к языку, где ты действительно профессионал и мог бы чего-то разгадать, и девяносто пять процентов

невероятно разнородных вещей — логика, знание, просто умение догадаться, интуиция, чёрт знает что,— связанных с индивидуальными способностями.

Два человека, читающие одну и ту же статью, в этом смысле понимают её часто на разной глубине. Поэтому, значит, нужно полностью отказаться от анализа, для этого время не пришло. Сейчас надо моделировать синтез. Когда мы это сделаем и это будет формализовано, профессионал-программист, аналит, перевернёт этот алгоритм из чисто формальных соображений. Он не будет работать на анализе. Именно по той причине, о которой я сказал: он недостаточен.

Так вот, то, чего не хватает, надо будет достраивать тогда, видя: вот здесь язык, сюда не залезай, это лингвист тебе доделает. Но весь этот огромный кусок не требует, чтобы лингвист это делал. Это не лингвистика. Это тоже нужно, без этого анализа не выйдет, но надо понимать, что ты делаешь. А при синтезе весь этот кусок не нужен.

Вторая идея была такая. Всегда всё говорилось о синтаксическом анализе: синтаксис — фраза, синтаксис — фраза. Откуда это взялось, например, у того же Ляпунова и у всех, ну, как в языках программирования, формальные языки: словарь и синтаксис. Прямая аналогия, действительно, очень точная... Но в естественном языке это плохо работает, потому что в естественном языке есть ещё нечто, чего совершенно нет в формальных языках — буквальная семантика. Не та семантика, которая в программе,— в программе, говорят, тоже есть семантика: она что-то делает — вот её семантика. Но в языке не так, в языке семантикой фразы является не то, что ты делаешь, услышав эту фразу. А нечто другое, это очень трудно коротко сказать. И я не буду, это высокая наука. Ну, короче говоря, есть ещё слой, пласт, которого ни в каком формальном языке в принципе не бывает. Формальные языки именно нарочно сделаны так, чтобы они были проще, чтобы ими было легче манипулировать, и там это не допускается.

Лингвистический смысл научного текста — это совсем не то, что ты, читая его, из него извлекаешь. Это, очень грубо говоря, инвариант синонимических парафраз. Ты можешь один и тот же смысл выразить очень многими способами. Когда ты говоришь, то можешь сказать по-разному: “Сейчас я налью тебе вина”, или: “Дай, я тебе предложу вина”, или: “Не выпить ли нам по бокалу?”, или что-нибудь такое,— всё это имеет один и тот же смысл. И вот можно придумать, как записывать этот смысл. Именно его. Не фразу, а смысл. И работать надо от этого смысла к реальным фразам. Синтаксис там по дороге тоже нужен, но он нужен именно по дороге, он не может быть ни конечной целью, ни начальной точкой. Это — промежуточное дело.

И как только ты становишься на эту точку зрения...

Здесь главное — то, что называют лингвистическими способностями. Не способность к языку, а способность быть лингвистом. Как есть прирождённые математики, прирождённые архитекторы, прирождённые певцы — так есть прирождённые лингвисты. Это такая же способность. Есть больше, есть меньше, есть гении, а есть неспособные. Это способность видеть этот путь. Так же, как художник, чёрт его знает, откуда он знает, как провести линию. Он проводит, а ты не можешь! Вот так же с лингвистикой. Нормальный лингвист видит, как это делается. Другие люди умеют говорить не хуже, но не видят этого.

Вот это то, чего Ляпунов понять не мог.

Он бы мог понять, он был гениальный, но ему это было неинтересно слушать. Кроме того, он был занят миллионами разных дел. У него никогда не было времени и покоя, чтобы на чём-то сосредоточиться. Теперь, почти тридцать лет спустя, эта мысль стала банальной и проникла просто всюду. Есть доказательства... Тогда — ничего! Я ничего ему не мог разумно продемонстрировать. Это всё держалось на интуитивном ощущении нескольких сопляков. Теперь у меня такой огромный опыт, что я могу предложить бесконечное количество примеров, иллюстраций, ссылок. Тогда ничего этого не было, в это надо было просто слепо верить. И я не удивляюсь, что он не хотел, это не в его натуре — слепо верить. Если бы он сам имел возможность засесть за это на какие-то дни, недели, поковыряться, возможно, он бы понял это в тридцать раз лучше меня, но он этого не делал. Он всё время спешил. У него не было ни времени, ни сил, а потому и желания влезать в детали. Это было очень далеко от его главных интересов.

— Ну конечно, ведь путей, по которым кибернетические понятия можно было использовать, и применять, и развивать, была масса — и он хотел все их охватить.

Именно! И он это делал, и делал в какой-то степени успешно.

Я повторяю: я обязан ему, лично ему тем, что я стал таким, каким я стал. Плюс — случай, что, будучи под его большим влиянием, я не был от него прямо зависим. Я считаю, что это сыграло очень положительную роль. Если б его влияние было существенно больше, и он бы мог меня ограничить (он бы это делал, конечно, не из дурных соображений, а считая, что я заблуждаюсь: ну, учеников всегда стараешься ограничить, это естественно), то с какого-то момента это влияние было бы уже дурным. Я так думаю. Проверить это невозможно.

— И ты отделился от него?

Да, именно. Первая работа, в совершенно новом жанре, она ему не понравилась. Тем не менее он её опубликовал в “Проблемах кибернетики” без всяких проблем, хотя он сделал много замечаний по форме, по выражению. И хотя он морщился и говорил: “Ну зачем вы теряете время, это неправильно, это ненужно”, но никаких репрессий ни в какой форме не было.

Потом был съезд славянский. Я уговорил его и Молошную, мне было неудобно одному излагать эти все идеи. Они как бы приписались ко мне, но текст писал в основном я, и ему страшно не понравился этот текст. Тут тоже начались трения. Он сказал: “Я сниму своё имя, тем более, что я ничего не писал, говорите от себя, я не могу отвечать за эти мысли”. Ну, я настоял на том, чтоб его имя осталось, потому что мне казалось, что я его обворовал. Он не признавал эти мысли своими, а я их воспринимал как его собственные.

— Они возникли у тебя под его влиянием?

Да. Именно. Я считал, что я — первый автор, но это и его тоже. Мы это с ним обсуждали, он критиковал, я менял и так далее. И он уступил. Но ему не понравился доклад. Он его перечитывал, но не проявил никакого интереса. Это

было в шестьдесят третьем году — в первый раз, когда я правильно сформулировал, что с чем не надо путать. Это был довольно поверхностный доклад, там не было результатов. Но я правильно различал то, что, я и теперь считаю, надо было различать, что и сейчас во многих направлениях не делается.

И примерно с шестьдесят седьмого года (это точная граница) мы научно практически больше не общались. Его влияние на меня (научное) прекратилось. Оно длилось, скажем, больше десяти лет постоянно. Сначала резкий толчок вверх. Я бросил диссертацию, которую я тогда писал, диссертацию по сравнительной грамматике индоевропейских языков — я был бы таким классическим филологом... Я её просто бросил, я её не дописал, настолько мне стало это неинтересным после тех перспектив, которые он мне открыл. Я стал заниматься этим, прошёл прекрасную школу формализации — может быть, слишком большую. Бульшую часть из этого я выбросил потом, но та маленькая часть, которую я не выбросил, стала моим главным оружием. Я лучше многих лингвистов только потому, что я умею думать так. А вот они талантливее, а так думать не умеют. А это у меня — от него и от Кулагиной.

Но потом, с шестьдесят седьмого года,— после этой публикации он публиковал и другие какие-то наши работы, репрессий никаких никогда не было,— но он всё больше и больше морально отделялся. Ему стало неинтересно со мной говорить, потому что я приходил к нему с новыми идеями, а ему хотелось слышать о своих... Тоже понятно. Я думаю, что я несколько более либерален и демократичен как учёный, чем он был. Но мне тоже неинтересно слушать идеи, которые меня не интересуют. Я тоже так же “затыкаю” своих учеников. Я их выслушиваю вежливо, но мне неинтересно, я им это честно говорю. У меня есть своя идея, которую я хочу разработать, у меня уже нет времени рождать новые. Так что я не в качестве упрёка говорю, а просто — вот так устроено, это немножко даже грустно. Но это так.

Знаешь, всё-таки не все люди такие. Вот я сейчас общался здесь, в Академгородке, с Кириллом Алексеевичем Тимофеевым. Он в идеальной форме. Он седой, стройный, подтянутый старик, который встаёт со стула так же легко, как я или ты. И ясность мысли у него точно такая же, как двадцать пять лет назад. И он как раз открыт всем новым идеям. Дело не в том, какой учёный он сам. Но он — умнейший человек, знающий человек и как профессор университета, обучающий молодых, замечателен на своём месте. Он принимает все идеи. И вдумывается во все одинаково охотно. Необычайно было приятно! И невероятно грустно, что такой человек вот-вот исчезнет. Это — совесть России. Таких людей надо бы возить и показывать. Это — идеальный русский профессор. Таких уже давно не существует. Бескорыстный, этика его на недостижимом для среднего человека уровне. Когда меня отовсюду выгнали, я собирался уезжать, у меня уже были большие проблемы с КГБ, я не знал, возьмут меня, не возьмут... На допросы меня вызывали и прочее. Я приехал в Городок проститься с Галей и Андреем и договориться о будущей встрече, если получится, в том мире. У меня здесь друзей и знакомых было бесконечное количество, но никто не хотел со мной особенно видаться. Все боялись. Вот, скажем, был человек, на которого я меньше всего думал, что он так испугается,— он дал мне знать через третье лицо, что он очень извиняется, он просит вообще не появляться, потому что он занят, у него планы, лаборатория и так далее.

А Тимофеев, который был партийный, заведующий кафедрой в университете, то есть лицо суперсоветское, абсолютно на виду,— через студентов, среди которых было столько стукачей, несколько раз приглашал меня. Я не звонил ему, только с третьего раза или с четвертого, когда ещё один человек подошёл и говорит: “Кирилл Алексеевич на вас обижается. Или до вас не дошло, он передавал вам записку, он просил, чтоб вам сказали. Вам сказали?”,— я ответил: “Да, да. Извините, я позвоню”.

Я позвонил в конце концов ему и говорю: “Кирилл Алексеевич, извините, я не звонил, потому что не хотел вас ставить в неловкое положение...”

“Какое там, приходите в любое время. Если можете, сегодня, если не можете — договоримся”.

Я говорю: “Кирилл Алексеевич, вы знаете о моей ситуации? Вы не боитесь?”

“О чём вы говорите, Игорь! Сделайте мне честь (он говорит очень старомодно), соизвольте сделать мне одолжение и посетить меня, когда вам это будет удобно”.

Он мне писал после этого, все эти годы застоя: Брежнева, Хрущёва, кто тут у вас был. Он писал не часто, но абсолютно нормально. Так, как будто вообще никакой советской власти никогда не было. И он таким и остался.

Через его руки прошли многие лингвисты. Саша Диковский, он тоже закончил этот факультет. Лёня Иомдин, который стал первоклассным лингвистом в этой области и работает уже в третьей системе машинного перевода на Западе. Он живёт в России, в Москве, но его приглашают как специалиста. Он работал полгода в Германии... Это выпускники этого университета. Таких больше нигде просто нет. И в очень большой степени это заслуга Кирилла Алексеевича.

Тимофеев меня — в период, когда меня не подпускали даже к студентам,— он меня водил в школу к школьникам. Говорил: “Если вы можете...” Я боялся сделать ему дикую неприятность. Меня — привести к школьникам! Да его арестовать могут! Уж выгнать с работы точно могут! Я говорил: “Кирилл Алексеевич, я, конечно, пойду с удовольствием, но вы понимаете...”

“Игорь, не будем об этом разговаривать. Я хочу, чтобы мои школьники видели настоящих учёных”.

Он — единственный такой...

Ещё один человек, который, с моей точки зрения, сыграл огромную роль... Ты о нём, может, даже и не знаешь. Фамилия Розенцвейг тебе что-то говорит? Мы сейчас обсуждаем довольно узкую тему — лингвистическую кибернетику. В этой области бесспорным основателем и создателем всего был Ляпунов. Равного ему в начале (пятьдесят пятый, пятьдесят шестой, пятьдесят седьмой годы) ни в каком смысле не было. Ни в организационном, ни в смысле энтузиазма, ни понимания задач, ни постановки задач, ни публикации, ни в каком смысле. Он был просто уникалом. Там были лингвисты, ему очень сочувствовавшие, встававшие и говорившие, что это замечательно, но никто ничего никак не делал. Не работал в этой области, не поощрял студентов и так далее.

Но в пятьдесят седьмом году появилась вторая личность, которая постепенно перехватила в каком-то смысле инициативу: начиная, скажем, с шестьдесят четвёртого — шестьдесят пятого. То есть десять лет Ляпунов царствовал абсолютно единолично. А вот затем на первый план (в организационном отношении) вышел Виктор Юльевич Розенцвейг. Личность совершенно необычайная и просто почти что немислимая.

Я тебе расскажу, что я знаю о нём. Он из Румынии родом. С детства он был многоязычным: еврейский, румынский, русский...

— Французский?

Французский потом появился, и немецкий, видимо. Он просто на них свободно говорил, переходя с одного языка на другой. Молодым человеком он уехал учиться во Францию, где получил звание лиценциата (это вроде как диплом повышенной трудности, это ещё не кандидатская степень, но близко к ней) в Сорбонне, в Париже. Специалист по французской литературе и по французскому языку. Он вернулся из Франции в СССР в тридцать восьмом году, вернулся в несколько странном смысле, потому что он не уезжал из СССР.

— И его не убили?

Не только не убили, но он имел какую-то странную власть. Маленькую, локальную, но имел. У него были какие-то загадочные связи... Кроме того, его родная любимая сестра Елизавета Зарубина и её муж выполняли некие поручения за границей и ни разу не попались... Видимо, всё это его покрывало... Это покрывало его минимально: во всяком случае, его не тронули. Но он был беспартийный и в смысле советской власти никаких прав не имел. Тем не менее, поскольку он говорил по-французски так же, как на своём родном языке, он был гениальный переводчик. Его за это тоже ценили. Он был лучший переводчик между французским и русским в течение большого времени, пока не начали возвращаться эмигранты. Это сделало ему какие-то связи, и кончил он тем, что стал в конце пятидесятых годов или начале шестидесятых заведующим кафедрой французского перевода в институте иностранных языков.

Невеликое дело. Но, благодаря то ли своим связям, то ли своей энергии, то ли своей колоссальной дипломатии — он в высшей степени дипломат, человек абсолютно потрясающий,— он стал покровителем всего этого направления. Он увлёкся этим до потери сознания. Ничего ему не было дороже, чем всё это: машинный перевод, что-то около... Он создал у себя в институте организацию, которая называлась “Первая лаборатория машинного перевода”, и благодаря этой организации, только благодаря ей, большая группа советских лингвистов могла существовать: он давал нам подрядные работы, что позволяло нам кормить семьи; его жена — замечательный хирург, лечила нас, наших жён, наших детей, наших родителей, если это было нужно; он создал новый публикационный орган, потому что в “Проблемах кибернетики” чистых работ по лингвистике не печатали. Понятно: это никто и не считал кибернетикой. А нормальные советские лингвистические журналы с нами вообще не желали разговаривать! Так вот, он создал свой журнал, для нас специально. Он назывался “Бюллетень Объединения по машинному переводу”. Вышло примерно 20 номеров. Все мои первые работы были опубликованы там. Он переводился на английский. Мгновенно. Издавался в Америке тут же, но это было пиратское издание, тогда же

не было никакого соглашения об авторских правах. Но они этот бюллетень добывали и переводили полностью, просто через месяц. Когда он появлялся здесь, он уже был там по-английски.

Именно под его крылышком... И Жолковский работал в его лаборатории, и другие... Я был единственный, кто не работал там, потому что у меня было место в Институте языкознания. А многие, многие советские лингвисты, выросшие теперь, пятидесяти-шестидесятилетние, которые стали профессорами и прочее,— все работали у него.

Он сам не рождал научных идей, но он собирал людей, которые под его руководством делали науку. Он — гениальный организатор.

Да, он был прекрасный административный организатор, но особенно — организатор по человеческой линии. Он сводил людей. Он свёл меня с Жолковским, например. Он понимал, кто с кем как будет работать. И опекал это очень тщательно по-человечески, приглашая к себе домой. “А, ну... Вам трудно сейчас, приезжайте ко мне на дачу, я вас запру на три дня...”

Его жена была гениальный хирург, просто экстракласса, что тоже давало им определённую стабильность, потому что она каждый год спасала кого-нибудь от чёрт знает чего. Её никогда не брали в “Кремлёвку”, но её всегда приглашали на операции, а потом давали ей конверт с огромной кучей денег...

В девяносто четвёртом Розенцвейг уехал в Штаты к сыну и внукам и сейчас, к сожалению, погибает от болезни Альцгеймера...

(Текст приводится по книге:

Очерки истории информатики в России / Редакторы-составители: Д. А. Поспелов, Я. И. Фет. - Новосибирск: Научно-издательский центр ОИГМ СО РАН, 1998. - 664 с.)